

Сергей Волконский

# Родина



Мои воспоминания

Сергей Волконский

**Родина**

«Public Domain»

1923

## **Волконский С. М.**

Родина / С. М. Волконский — «Public Domain», 1923 — (Мои воспоминания)

«Какое сложное понятие и, несмотря на сложность свою, какое сейчас неуловимое. Мы любим родину, – кто же не любит родины своей? Но что мы любим? Что? То, что было? То, что есть? Нет. То, что будет? Мы не знаем. Страну нашу? Где она? Клочки одни. Народ наш? Где его лицо? За темнотой лица не видать. Думы нашей земли? В чем они выражаются? Голос нашей земли? Где он звучит?...»

# Содержание

От автора	5
Глава 1	6
Глава 2	16
Конец ознакомительного фрагмента.	25

# Сергей Волконский

## Родина

### От автора

*Родина!* Какое сложное понятие и, несмотря на сложность свою, какое сейчас неуловимое. Мы любим родину, – кто же не любит родины своей? Но что мы любим? Что? То, что было? То, что есть? Нет. То, что будет? Мы не знаем. Страну нашу? Где она? Клочки одни. Народ наш? Где его лицо? За темнотой лица не видать. Думы нашей земли? В чем они выражаются? Голос нашей земли? Где он звучит?

И тем не менее называю эту третью часть моих воспоминаний – «Родина». И когда кончу, тогда видно будет, из чего составлено это понятие. Видно будет потому, что буду говорить с искренностью. Не буду стараться *составлять* понятие родины, а предоставлю тому, кто меня будет читать, – *вывести* его.

И если отдельные выводы тех, кто прочитает, окажутся соответственны душе каждого и соответственны между собой, тогда это соответствие и слияние этих соответствий и будет наша Родина. Она будет не реальна, но она будет сильна в своей метафизичности; она не будет вне нас, но тем сильнее будет в нас; она лишится узости земных границ и получит беспредельность личного сознания.

И если, отрешаясь от земных условий, от привязанности к месту, мы в творческой памяти воссоздадим то, чего нет; если в тех горних высях, куда укрылся наш дух, сознание наше подернется влагой бесполезных сожалений, мы скажем вместе с поэтом: «Нет у *нас* родины, нет *нам* изгнания» – и на ровной поверхности когда-то возмущенно клокочущей души ощутим великое равновесие опрокинутого отражения.

## Глава 1

### Фалль

Фалль, дивный Фалль под Ревелем, на берегу моря. Под знаком Фалля прошел расцвет моей детской души, и на всю жизнь «Фалль», звук этого имени, остался символом всего прекрасного, чистого, свободного от реальной тяжести. Он живет меня бодрящей лаской морского воздуха, смолистым запахом соснового бора. Встают в памяти крепкие очертания нависших скал, в закатах пылающее море, зеленый мягкий мох во влажной тени хмурых елок и крепкий серый мох на сухом песке под красными соснами; бурливая, в глубоких берегах река, далеко расстилающиеся долины и холмы разделанного парка; огромные со скорченными ветвями каштаны, тонкие перистые лиственницы; журчащая вода и мшистый камень, в тиши подлесной приветливая черника, улыбчивая земляника; дорожки, вьющиеся, убегающие, каменными лестницами поднимающиеся, спускающиеся; беседки на горах, над бурливой рекой, над зелеными низинами смотрят на далекое синее море или на холмистую кудрявость лесную, из-за которой розовая башня поднимает свой сине – желтый флаг...

О, этот дом, в котором пахнет деревянной резьбой, сухими и живыми цветами! Приветливая готика, уютная нарядность; дивный вид с террасы, из каждого окна. И все: воздух, свет, запахи, портреты, книги, и тишина, и говор – все укутано немолчным шумом водопада...

Спальня моей бабушки выходила окном на водопад. Мебель готическая, белая с черным; ситец светлый с красными цветочками; портреты, вазочки, воспоминания. По всему Фаллю прошлое к вам прикасается, ласково окликает. Из спальни тут же выход в маленькую восьмиугольную башенную комнату – миниатюры, бюро с вензелем императрицы Марии Феодоровны, ее портрет пастелью, писанный в Версале, и чудный вид на внизу шумящую и пенящуюся реку, на дальний парк и сквозь просеку светящееся море. Море сияет далеко, река шумит глубоко, а окно высоко, и между ними воздух и пространство...

Встают картины детства... Мне три года. На ступенях каменного крыльца старая старушка англичанка: мисс Смит, гувернантка моих теток, двоюродных сестер матери, показывает мне, как пальцы складывать, чтобы выходил домик; указательный опускается и образует прилавок, мизинец – лавочник, и два больших пальца – покупатель... В низком кабинете, во флигеле, в глубоком кресле старец с белой бородой, в черном бархатном халате курит длинную трубку: мой дед декабрист... Дядя Петр Григорьевич Волконский, брат моей матери, посадил меня на лошадь и водит вокруг круга; мне боязно. После второго круга снимает меня, спрашивает: «Ну, как?» – «Не совсем ловко...»

Купанье в море! В тележке гурьбой, на сене, покрытом полостью: в тележку запряжены или Фалль, или Ястреб – низкорослые лошадки, темно – бурые, а хвост и грива белые... Лесом едем. Поперек дороги корни; трясемся, смеемся. Лошадью пахнет в пахучем лесу... Вот последний пригорок, и за ним обдаст нас шум морской. Спускаемся под гору; колеса в песке вязнут; серая морская трава по бокам дороги. Раздеваемся в дощатом «купальном домике»; босиком по песку вприпрыжку через колючую траву в воду! Волны набегает, обдают. Гладкое песчаное дно, ровное, крепкое. Иногда под подошвой легкое щекотанье – то маленькая камбала высвобождается из-под ноги. Никогда уже нигде я не мог после этого купаться – только море или океан; ни реки, ни пруда не выносил, не мог выносить, чтобы нога уходила в мягкое, вязкое, – это противоречило аристократичности первых впечатлений...

Однажды после купанья мне сделалось дурно; брат с гувернером вывели меня из домика на воздух. Я лишился сил; я лишился сознания, но все время слышал шум моря и ветра. Когда возвращался в сознание, это было постепенно, и в этой постепенности был один блаженный миг – перед полным возвращением. Чувство недомогания прошло, шум волн прибывал к моим

ушам, теплый ветер ласкал мое голое тело, трава колола ноги – я чувствовал свое бессознательное слияние с природой. И всегда впоследствии, вспоминая этот миг, я думал, что и корова, наверное, знает, что такое счастье... Возвращение с купанья – пешком; губы и пальцы синие от черники... По дороге в лесу огромный камень; обчистили его однажды от моху, и все дети захотели высечь на нем свои имена. Принесли молотки, долота, но работа оказалось не так легка, как детям казалось...

В Фалле пробуждается любовь к надписям, к закреплению в камне; там несколько памятников. Большая глыба камня над высоким берегом пруда увенчана шлемом, щитом и мечом; памятник поставлен отцом моей бабушки, основателем Фалля графом Бенкендорфом своему брату Константину. Последние слова надписи: «Он кончил службу, кончив жизнь». В Фалле привыкаешь надписи читать. Много в саду чугунных скамеек: знакомые, кто приезжали, дарили на память скамейку со своим гербом и просили поставить на любимом месте. Читать девизы этих гербов, – какое развлечение! Тут цветы и земляника, а тут же латинская надпись. «Pro fide et patria» («За веру и отечество») были мои первые латинские слова... Рано вливался романтизм в мое душевное настроение...

Вечер, сумерки, ламп еще не зажигали. Бабушка на своем Эраре играет – грустно, протяжно, а все-таки как-то утешительно. Слушаю в блаженной полудреме; в левой руке жалоба как будто повторяется... Как-то раз она сказала, что это называется вальс, что это сочинил Шопен какой-то. Но тут я еще не знаю, что это, и сижу я не в гостиной, а в соседней, «колонной», комнате. В большие окна смотрит белый вечер северной весны. Что-то застылое в природе – туда не хочется. Как-то смиренно там, за окном. Только самые верхние листочки на деревьях трепещут, темные против белого неба. Большой каштан, тяжелый, вырисовывается над обрывной пустотой; его посадила, говорят, старая тетка Захаржевская, тетка моей бабушки; она иногда гостит в Фалле, она такая же большая и тяжелая, как ее каштан; она курит особенные папироски из соломы: пахитоски называются; от нее хорошо пахнет...

Там под обрывом растут те красные цветы метелкой, про которые мать рассказывала, что, когда она была маленькая, ей ее бабушка говорила, что, когда она была маленькая, ей одна древняя старушка говорила: «Всякий раз, что увидишь этот цветок, вспомни обо мне». И я всю жизнь, когда его видал, вспоминал и мою мать, и прабабку графиню Бенкендорф, которой никогда не видал, и древнюю старушку, которой имени не знаю. И еще на днях, в июне 1921 года, в садике одного дома на Сивцевом Вражке увидел я этот цветок и мыслью пролетел от нашего двадцатого столетия сквозь девятнадцатое в восемнадцатое, когда древняя старушка говорила маленькой моей прабабушке, чтобы помнила ее...

Те цветы под неприступной крутизной или внизу у воды; к ним надо снизу подходить, а здесь, в «колонной» комнате – между колоннами и на окнах жардиньерки с тепличными цветами. Какие среди них красивые – как глубокие рюмки, лиловые и темно – малиновые; говорят, глоксинии зовутся. Старик садовник в прошлый раз брал лист глоксинии, разрезал пополам и каждую половинку листа втыкал в ящик с песком, и через несколько дней каждый кусок листа давал корень вниз и росток вверх. У старика садовника Риу внучка и внук, Валли и Рихард; мы с ними играем; один камень большой около пруда я назвал «Wally's Stein», а мать мне сказала, что это напоминает одно очень знаменитое имя...

На дворе совсем уже застыло все, недвижно, как стеклянное; только снизу, с долины, туман поднимается. Там, на той стороне реки, на лужайке под горой стоит из бронзы человек – Аполлон называют его; не видать, на чем он стоит, – облака у ног его, он точно на небе или небесный на земле... Я прильнул к окну, – холодное. Красиво терраса убрана цветами; но все стеклянное, без трепета. И сколько лет уже с террасы белокаменные львы вперяют недвижные очи в недвижные ночи...

А у бабушки в левой руке жалоба продолжается, но такая покорная. А на меня смотрит с окна большая мраморная дама с покрывалом; под ней на бронзовой доске написано, что это императрица Мария Феодоровна, «благодетельница всех и наша».

Вносят лампы. Больно, неприятно; все рассыпалось. Но и чай готов в столовой. Длинный – длинный стол, и простокваша, и чухонский серый хлеб «сэпик». В большой столовой на полках много старого серебра – кубки, ковши. А на стене, над буфетом, висит картина, изображающая древнюю старушку: и положила голову к ней на колени маленькая девочка в рубашечке. Это портрет женщины, которую прадед мой, граф Бенкендорф, спас во время наводнения, воспетого в «Медном всаднике», а девочка – сестра моей бабушки, впоследствии княгиня Кочубей, владелица Диканьки... Тогда-то я этого еще не знал, но то, что узнаешь впоследствии, как-то просачивается в прошлое, и даже когда мы думаем о тех, кого нет, мы видим их в прошлом умершими. Трудно разграничить в памяти моменты знания, уловить ту точку, в которой кончилось «не знаю» и начинается «знаю», ту точку, когда именно было: «узнал»...

Много я *узнал* в Фалле, без усилия, без чтения – благодаря Фаллю, из внутреннего соприкосновения с внешними предметами, из того, что создавали вокруг нас мельком брошенное замечание бабушки или матери, рассказ, воспоминание, вздох или усмешка...

В «колонной» комнате стояло длинное старое фортепиано, несуразное и с совершенно стеклянным звуком; но его берегли – оно было под стать всей прочей готической мебели, и за ним пела, так говорили мне, знаменитая певица Зонтаг, в замужестве графиня Росси; она проводила лето в Фалле; в парке есть и скамейка ее имени. На этом неуклюжем фортепиано вечерами я с матерью сперва учился, а впоследствии играл в четыре руки; переиграли Гайдна, Моцарта, Бетховена, Вебера – каким стеклянным звуком и по каким старомодным изданиям!.. На этом же фортепиано играл однажды пасторальную симфонию с великим князем Константином Константиновичем, впоследствии К. Р., который кадетом приезжал в Фалль с прочими учениками Морского училища.

Несколько раз приезжали к нам кадеты. Как это было весело! Корвет «Варяг», клипер «Жемчуг» бросают якорь перед Фаллем; шлюпки на воду, а мы уже давно заметили, бежим навстречу. Высаживается человек семьдесят – кадеты, офицеры, а впереди адмирал Брылкин. Начинается гулянье, катанье, а дома готовят угощение; кадетам под каштанами, а адмирал, в эполетах, с лентой через плечо, ведет бабушку к столу в столовую... Они платили нам за гостеприимство: мы ездили к ним в Ревель, жили на военных судах; в Балтийском порту видели маневры с пушечной пальбой. Раз вернулись из Ревеля на парусной шхуне «Компас».

Никогда не забуду одного пробуждения. Я спал в каюте на «Варяге» сладким детским сном. Какой-то грохот пробуждает меня, и, прежде чем успеваю сообразить, что это барабанный бой, я погружен в тихое блаженство хорового пения: на палубе команда поет «Отче наш»; и в окно каюты ослепительное серебро морского отражения шлет лучи победного светила. О пробуждение! Вы любите утреннее пробуждение? Возглас Брунгильды: «*Heil dir, Sonne, heil dir, leuchtender Tag!*» Пробуждение! Залог будущего, залог того, что прошлое не прекратилось, залог возобновления и обновления. У какого-то француза читал: «Пробуждения детства торжествующи, пробуждения зрелого возраста унылы, пробуждения старости мрачны». Нет, не заметил я на себе этих разниц; и посейчас еще торжествую, когда утром просыпаюсь, и посейчас вскакиваю, потому что радостно день начинать, а в особенности когда хорошая погода или на столе рукопись начатая дожидается. Но такого пробуждения, как тогда на «Варяге», не помню.

Морская жизнь полна живописности, а эта морская живописность, вливающаяся в фалльскую живописность, – какая красота... Когда они уходили в море, вдруг пустело... Я сидел в «колонной» комнате и считал квадраты на паркете шашкою из дуба и черного дерева... А бабушка рассказывала, что вот у этой двери, когда она была девочкой, стоял и водил смычком по своему Маджини знаменитый Львов, автор «Боже, царя храни»; и его скрипка звучала



как оркестр. Он был адъютантом моего прадеда Бенкендорфа и сколько хороший музыкант, столь хороший инженер. Есть в Фалле через реку Львовский мост: один пролет покоится на железных стержнях, которые концами уходят в берега; легкость удивительная. Николай I, когда увидел этот мост, сказал: «Львов через реку перекинул свой смычок».

С северной стороны дома, на лужайке, – роща, каждое дерево которой обнесено решеткой с надписью. Это деревья, посаженные членами императорской фамилии, начиная с Николая I.

В 1871 году приезжала в Фалль цесаревна Мария Феодоровна. Как запомнились мне подробности этого посещения. В шесть часов утра приехали два барона, Мейендорф и Буксгевден, предупредить, что цесаревна приедет из Гапсала к двенадцати часам; с ней свиты человек шесть. Мать моя поднялась и за собой подняла весь дом. Все закипело, заработало; когда бабушка проснулась, ей только сообщили, что все готово к приему высокой гостьи. Помню, что послали на башню какого-то эстонца сторожить, с тем чтобы уведомил, как только он завидит экипажи по дороге. Но этот пентюх не понял возложенного на него поручения или, вернее, понял его так, что он должен махать, когда завидит. И вот он на башне неистово махал, в то время как мать с бабушкой спокойно разговаривали в гостиной. Уже показалась в воротах коляска с казаком на козлах и за ней другая, когда я побежал в «колонную», чтобы запыхавшимся голосом крикнуть традиционное: «Едут!» Мать оказалась на нижней ступеньке крыльца, когда цесаревна выходила из коляски. Они поцеловались, потом цесаревна поцеловала бабушку. Приехали с ней: гофмейстерина княгиня Юлия Феодоровна Куракина, фрейлина графиня Апраксина, фрейлина императрицы Марии Александровны Жуковская, дочь поэта, генерал Стюрлер, князь Суворов и секретарь цесаревны Оом. Хорошо помню платье цесаревны – серой парусины, отделанное полосой красного бархата под кружевной прошивкой. Помню, у матери было белое легкое летнее платье и шляпа кружевная с листьями и черными ягодами; бабушка была в сером шелковом.

Пока гости пили чай, мы, дети, в саду около дома ждали выхода: неужели они пойдут гулять, а нас не позовут? Вышло все общество с террасы: впереди моя мать с цесаревной, а бабушка осталась дома. «Сережа! Петя!» – кликнула мать. Вмиг мы выбежали и, как два пажа, очутились за цесаревной. Пошли дорожками вниз, перешли через Львовский мост, поднялись к старой развалине над крутым берегом реки; спустились к другому мосту, который дети называли «длинный мост», хотя он был не длин – нее, а только уже прочих; поднялись к «царской беседке» с бюстом Николая I в память его посещения и оттуда пришли к воротам, которые ведут в лес, где нас ждали экипажи для катания по парку.

Цесаревна была мила, в радостном, почти детском настроении духа. Она рвала цветы направо и налево от дороги; но вдруг увидела землянику – вот уж прямо как ребенок обрадовалась. Заметив это, мы с братом стали рвать землянику и подавать ей. Очень нас поразило, что она съедала все ягодки, даже самые зеленые... Когда мы сходили по крутой дорожке, что ведет от «царской беседки», я услышал, что она спросила мою мать (они говорили по-французски):

– Вы его не видели?

– Нет еще.

– Я вам его покажу.

Она остановилась и стала раскрывать под шеей медальон. В перчатках, без зеркала трудно было; мать моя помогла:

– Вы позволите? – раскрыла медальон и воскликнула: – Какой красивый мальчик!

– Кто это, мама? – спросил я.

– Это мой сын, – сказала по-русски цесаревна.

– Это первые русские слова, которые я слышу от вас, – сказала моя мать.

Когда подошли к экипажам, мать с цесаревной сели в первый двухместный шарабан, остальные расселись в трех других шарабанах. Мать взяла вожжи и кивнула мне, чтобы я сел на задние козлы. Мы поехали. Какой нарядный звук – звук колес по мелкому гравию. Фалльский

парк огромный; в нем пятьдесят четыре версты дорожек. И как разнообразно: по берегу моря, сосновыми рощами, по зеленым лугам, вдоль реки, над рекою, спуски и подъемы. Я не знаю ничего, что мог бы сравнить с фальльским парком по красоте и прелести...

Цесаревна очень восхищалась, то и дело просила остановиться, чтобы любоваться видом или нарвать цветов. У нее на коленях, когда мы отъехали, лежала синяя кофточка с бронзовыми пуговками с якорями. Мать взяла кофточку, положила мне на колени для хранения. Я заметил в кармане запечатанный конверт с красивым вензелем; ужасно мне захотелось увидеть ее почерк, а также – кому адресовано письмо. Всю дорогу меня мучило это желание. Но я не посмел перевернуть конверт. Почерк императрицы я впоследствии видал, но кому было адресовано то письмо, останется навсегда неразгаданною тайной...

Когда приехали домой, был обед. Мы, дети, в этот день обедали в доме управляющего, Лильенкампа... После обеда цесаревна лопатой, которой сажал свою березу Николай I, посадила каштан. Когда она очищала свои перчатки от земли, мать вынула у меня из кармана носовой платок и им обтерла ей руки.

Вот все, что могу припомнить. Конечно, после отъезда было много разговоров, делились впечатлениями дня. Заметил, что когда говорили о Жуковской, то как-то понижался тон; мать сказала: «Она, бедная, конечно, садилась отдыхать на каждую скамейку». Много, много лет спустя я узнал, что она в то время была беременна от великого князя Алексея Александровича, что только за несколько дней перед тем они просили императрицу разрешить им повенчаться, но разрешения не получили. Она родила сына Алексея, который получил фамилию графа Белевского. Хотя я в то время ничего не понимал, но это-то я понимал, что не надо спрашивать старших, о чем они говорят, когда они говорят этим тоном. Только почему старшие не могут подождать, чтобы дети ушли, если им хочется говорить о таких вещах, о которых дети не имеют права переспросить?.. Вечером того же дня – сейчас вспоминаю, что это было 10 июля 1871 года, – когда мы с братом ложились спать, пришел к нам в комнату старый дворецкий Николай Рыбаков поделиться и своими впечатлениями. Он говорил вполголоса, трагическим шепотом:

– А какое упущенье!..

– Что такое?

– А все Эдуард виноват. (Это другой слуга.)

– Да что же случилось?

– Да ведь мы с ним уговорились, что он будет вилками и ножами заведовать, а он вот какой оказался недосмотрительный.

– Что же?

– Обнес я горошек. Смотрю: цесаревна не ест; на тарелке горошек, а сама не ест. Что, думаю, такое? Гляжу: а вилки-то у нее нет. И ведь не спросила, – вот какая нежная!

Это была единственная задоринка в церемониале этого сложного дня.

В Фальльском доме, таком светлом, приветливом, есть одна комната, в которую мы, дети, входили с некоторым страхом, – мрачная, молчаливая, в которой никогда никто не сидел. Это был кабинет моего прадеда Бенкендорфа. Перед большим письменным столом большое с высокой спинкой кресло; на столе бронзовые бюсты Николая I, Александра I, родителей Бенкендорфа. Вообще много бронзы – модели пушек, в маленьком виде памятники Кутузову и Барклаю де Толли; пресс – папье – кусок дерева от гроба Александра I, обделанный в бронзу, увенчанный короной. Много портфелей с гравюрами, планами; высокие шкафы с книгами, медали в память двенадцатого года. «Царей портреты по стенам».

Висела там известная акварель Кольмана – декабрьский бунт на Сенатской площади: бульвар, генералы с плюмажами, с приказывающими жестами, солдатики с белыми ремнями по темным мундирам, и в пушечном дыму памятник Петра Великого. Как любопытно думать, что стоял перед этой картиной, смотрел на нее мой дед декабрист, когда по возвращении из

Сибири проводил лето 1863 года у тещи своего сына... В этой комнате все вещи как-то особенно молчали. Там пахло стариной, большей давностью, чем в остальном доме; там всегда хотелось спросить кого-то: «Можно?» А между тем там никогда никого не было. Из единственного окна виден водопад; на той стороне реки, на горе сквозь деревья виднеется «изба» – дачный домик, который одна старушка, баронесса Милинька Саккен, называла «*das Schweizerhaus im russischen Stil*» (швейцарский домик в русском стиле).

Милинька Саккен! Какое дальнее воспоминанье! Ближайшая соседка Фалльская. По ревельской дороге в шести верстах большой белый казарменный дом с двумя пузатыми башнями по концам – Фена называется. Там она жила, незамужняя тетка владельца Штакельберга, и вела его хозяйство, сочетая предписания бережливости с поползновениями знатности. Маленькая, с красным носом на сморщенном лице, держалась прямо, с отменной выработанностью форм общежития: каждому поклон, каждому привет, каждому подобающее слово. Ее входы и выходы, приезды и отъезды, это были своего рода церемониалы. Расточая приветствия, как бы раздавая себя, она в то же время высоко держала голову, увенчанную невероятно большой прической, в которой были и локоны, и ленты, и сетка, и банты. Никогда не видал ее иначе; она говорила, что с утра одета так, что может принять императора. Она своеобразно говорила по-французски. Так, она сидела на балконе своего казарменного дома, глядела на большую дорогу, ожидая возвращения посланного из Ревеля; но она называла его не посланным, а «вестником» – «*le messenger*». Штакельберг занимался молочным хозяйством; желая похвастать тем, что цены на молоко у ее племянника растут, она сказала: «*Et chez Ernst le lait monte toujours*» (А у Эрнста молоко все поднимается, то есть что по-французски говорят о кормилицах). На одном из окон в Фалле стояла маленькая бронзовая статуэтка – Меркурий Джамболонья; как известно, юный летящий бог без всякого прикрытия. Милинька Саккен называла его «*la petite danseuse*» (маленькая танцовщица). Она иногда страдала одышками, кровь ударяла ей в голову; она называла это «*des bouffons*» («шутники», вместо «*bouffees*»)... Сколько образов прошло через детство; прошло и кануло туда, в темную пучину прошлого... Вспомнил о Милиньке Саккен по поводу избушки, выглядывающей из-за леса над водопадом. В этом лесу, далеко от дома, на горе фалльские могилы.

Дивное место. На полугоре как бы природная терраса; книзу спускается зеленый луг, по бокам его лес, впереди, внизу за лугом, тоже лес, и за этим лесом море. Сзади гора и наверху горы огромный деревянный крест. Бабушка говорила, что крест всегда там был и что однажды, гуляя со своим отцом, она сказала: «Я бы хотела быть похоронена там, под крестом». Граф Бенкендорф умирал на пароходе, который вез его из Амстердама в Ревель. Последние его слова были: «Там наверху, на горе». Присутствовавшие не поняли; уже когда привезли тело в Фалль, бабушка разъяснила. Еще подробность. Прабабка, графиня Бенкендорф, поднималась на башню с подозрительной трубой смотреть на прохождение корабля, державшего путь на Ревель мимо Фалля. Она видела корабль, но он нес уже покойника...

Вспоминаю, как они женились. В Харьковской губернии, в старой усадьбе по имени Старые Водолаги, жила Мария Дмитриевна Дунина, урожденная Норова. Сама мать многочисленного семейства, она воспитывала еще двух дочерей своей сестры Захаржевской. Старая насадка, Мария Дмитриевна широко распространяла патриархальное владычество своих мягких, но и крепких крыльев. Дочери, племянницы выходили замуж, но яблочки падали недалеко от яблони: и с каждой новой свадьбой вырастал новый дом. Но к обеду все сходились. Там жили широко, и к обеду закалывали быка. Весь Харьков ездил на поклон в Старые Водолаги. Однажды приезжает в Харьков высочайше командированный молодой флигель – адъютант Александр Христофорович Бенкендорф (тогда еще не граф). Ему говорят:

- Вы, конечно, поедете к Марии Дмитриевне Дуниной?
- К Марии Дмитриевне Дуниной?
- Как? Вы не поедете к Марии Дмитриевне Дуниной?

Он увидел такое изумление на лицах, что поспешил ответить: «Конечно, я буду у Марии Дмитриевны Дуниной».

Он поехал. Сидят в гостиной; отворяется дверь – входит с двумя маленькими девочками женщина такой необыкновенной красоты, что Бенкендорф, который был столь же рассеян, сколько влюбчив, тут же опрокинул великолепную китайскую вазу. Это была молодая вдова, Елизавета Андреевна Бибикова, рожденная Захаржевская, племянница Марии Дмитриевны Дуниной. Муж ее был убит в двенадцатом году.

Когда положение обрисовалось, Мария Дмитриевна нашла нужным собрать справки. Фрейлина Екатерины Великой, поддерживавшая переписку с императрицей Марией Феодоровной, она за справками обратилась не более, не менее, как к высочайшему источнику. Императрица вместо справок прислала образ. Она хорошо знала Бенкендорфа; он был любимцем царской семьи. Его мать, рожденная Шиллинг фон Канштат, приехала из Вюртенберга с Марией Феодоровной. Екатерина ее не любила и хотела отослать обратно, а Мария Феодоровна выдала за Бенкендорфа, и она осталась в России. Сын ее, Александр Христофорович, будущий граф, шеф жандармов, основатель Фалля, был любимцем царской семьи с ранних лет. Он был пажем у императрицы Елизаветы Алексеевны; в Фалле была табакерка с ее портретом и надписью: «Моему амурчику».

Отец его был знаменит своей рассеянностью. Он был губернатором в Риге. Бабушка рассказывала, что однажды приехал Павел I, и Бенкендорф забыл заказать обед. Посылает к знакомым с просьбой выручить; все поспешили прислать по блюду. Принесли блюда, крытые крышками; когда сняли крышки, – под каждой крышечкой оказался гусь. Это было осенью, и всякий постарался прислать лучшее по сезону блюдо... Конечно, когда бабушка кончила свой рассказ, я спросил, как все дети, когда кончен анекдот: «Ну и что?» Но ответа не последовало. Одни ли дети ставят вопросы? Одни ли детские вопросы остаются без ответа... «Остальное – молчание», – сказал Гамлет, и остальное гораздо больше того, что сказано...

Была у моей прабабки Бенкендорф компаньонка Аделаида Петровна Ковалинская. Я помню приятную старушку, но я не помню ее мать; помню только странные рассказы про ту, которую звали «Старый Коваляк». Армянка по происхождению, шумливая, кипучая. Она всегда сосала леденцы и, насосавшись, вынимала изо рта и завертывала в носовой платок. Когда вытаскивала платок, чтобы высморкаться, на нем, как присосавшиеся пиявки, висели леденцы. Восторженная, пылкая патриотка, она во время турецкой кампании 1828 года с трепетом ждала всякого известия с театра войны. Томительно долго длилась осада Варны, больше двух месяцев. Наконец поздно вечером – она уже лежала в постели – ей приносят радостное известие: Варна взята. Она вскакивает, как была, в рубашке, кидается в переднюю, надевает калоши на босую ногу, накидывает первое, что попадает под руку, – это была одна из тогдашних лакейских ливрей с бесчисленным количеством воротников, – и в этом наряде бросается по лестнице вниз; выбегает на улицу – жила она в доме армянской церкви на Невском – и стремглав пускается бежать, размахивая руками, с криками: «Варна взята! Варна взята!» Она любила море, ходила в Фалле каждое утро купаться. Любила море, но боялась холодной воды. И вот, чтобы входить в афинские волны, она надевала салоп. Вокруг нее кольцом стояли девушки и, пока барыня, боязливо взвизгивая «Ой, батюшки! Ой, батюшки!» – бережно опускалась в воду, одни девушки поднимали фалды салопы, а другие из кувшинов лили в море горячую воду...

У прабабки моей было два брата, Захаржевские: смутно помню о них. Один был генерал; умер во время парада на площадке перед Зимним дворцом. Его жена – та самая тетушка, которая курила пахитосы. Она была урожденная Тизенгаузен, по-русски говорила плохо; ее русский язык не шел дальше придворных повесток, и то она их своеобразно передавала.

– Ma tante, – спрашивала ее мать моя, – вы поедете ко Двору завтра?

– Ну разумеется. Ведь это один из тех случаев, когда приглашаются все те, кто особого пола. – Так она передавала официальную редакцию «особы обоего пола, ко двору приезд имеющие».

Другой брат моей прабабки жил холостяком в деревне в Харьковской губернии и был ночью зарезан в своей постели. Его родной племянник Николай Похвостнев был заподозрен и умер под этим подозрением. Но на суде выяснилась его непричастность – камердинер покаялся в преступлении...

У Бенкендорфов было три дочери; моя бабушка была средняя. Старшая, Анна, вышла замуж за венгерского графа Аппони. Я дважды навестил старушку в ее имении Ленгвель. В 1842 году покинувшая Россию, она жила далекими воспоминаниями и там, на новой родине, была окружена портретами. В далекой венгерской равнине она хранила память о холмистых долинах, о берегу моря, о розовой башне в кудрявости лесной и о немолчном шуме водопада. В ее рассказах вставала странная Россия, сосредоточенная в Зимнем дворце, Петергофе, Фалле. Большая нарядная игрушка тогдашний Петербург. И все, что тогда строилось, все носило этот характер игрушки, беззаботности. Оставшиеся с того времени памятники, дворцы, павильоны пригданы для нарядной жизни, за которой как-то не ощущается присутствие практических забот. Николаевская выправка была какою-то военной ширмой, которая отгораживала жизнь и обеспечивала ее спокойное течение.

Вся жизнь была парад, и никогда эту парадность я не ощущал так близко, как в рассказах милой тетюшки Аппони. Она хорошо знала тогдашний Петербург, она стояла на виду, она была восхитительно хороша, несмотря на то, что косила, и она обладала редким голосом. Она была первой публичной исполнительницей львовского «Боже, царя храни». Это было в зале Дворянского собрания, на концерте Патриотического общества. Гимн исполнялся в первый раз; пел хор, но раньше хора каждый куплет пела она как запевала. Тетка Аппони намного пережила мою бабушку. Второй раз я навестил ее в 1898 году, за год до ее смерти. Она была слепая, но в восемьдесят четыре года такая же приветливая и живая, как прежде...

Третья дочь Бенкендорфов звалась София и была за князем Кочубеем, владельцем Диканьки. Я ее никогда не видал.

Обо всем этом вспоминаю перед могилами. Не много, пустяк, но и за этот пустяк благодарен скупому прошлому, что так мало отпускает алчущей памяти... Нельзя себе представить более красиво – успокоительное место, чем Фальские могилы. В детстве помню их две – прародители Бенкендорфы. Сейчас, в 1921 году, их восемь. Прибавились: моя бабушка в 1881 году, брат моей матери в 1895–м, жена моего двоюродного брата и ее малолетняя дочь; там же похоронены мои родители – мать в 1896 году, отец в 1908–м.

Образ Бенкендорфа витает над Фаллем, но с его образом вместе какая-то архитектурная официальность, подтянутость николаевского мундира. За романтикой непринужденного дачного жития чувствовался казенный шлагбаум; пока кисейные дамы и барышни вышивали по канве, в кабинет проходили адъютанты и по большой ревельской дороге скакали фельдъегеря. По этой дороге, в полутора верстах не доезжая дома, стоял крохотный розовый домик, в котором адъютанты опраивались с дороги и переодевались. Парадность никогда не затмевалась и сопутствовала жизни даже в ежедневных мелочах... Все это, весь этот бенкендорфский Фалль, во мне живет где-то глубоко, в тех недрах человеческого сознания, где живет то, чего мы никогда не видели, в тех закоулках нашего существа, где реальное небытие находит субъективное подтверждение своего метафизического бытия. Не говорите, что это субъективно. Или нет, именно скажите, что это субъективно, но признайтесь, – ведь субъективность лучшее украшение объекта.

И после этого – другой Фалль; Фалль моей бабушки Марии Александровны. Этот Фалль живет в тех близких верхних слоях сознания, где живет то, что мы видели, знали, любили,

так любили, что только с жизнью вместе угаснет любовь и только с любовью вместе угаснет ее свежесть.

Бабушка была самое аристократическое существо, какое я в жизни знал. Тонкая, хрупкая. Вижу ее в белом гладком платье, с белой кисейной косынкой под соломенной шляпой, обстригает розы или кусты. Оттуда любовь моя к деревьям и кустам. Она отлично знала названия, привычки растений. Сколько елок, сколько каштанов переслала она к нам в Павловку, в Тамбовскую губернию! Этих фалльских уроженцев мать моя называла латинским эпитетом *Fallensis*. Сколько любви, ласкового ухода вокруг деревьев и цветов! Когда бабушка находила на дороге кучку сухого конского помета, она протыкала зонтиком и на конце зонтика несла драгоценное удобрение, чтобы сложить его в цветочную клумбу.

Она по-русски плохо говорила. Она принадлежала к тому поколению, которое воспитывалось по-французски, а русский язык воспринимало в девичьей. Так выходило, что, тончайший цвет аристократизма, бабушка, говоря по-русски, употребляла такие выражения, как «в эфтом» и «с эстим». Да, она была очень аристократична, и иногда это проявлялось с некоторою узостью в отношениях к людям: вопросы внешних форм действовали отчуждающе. Но это было в мелких, безразличных обстоятельствах жизни; в больших, важных случаях она подходила к людям с той душевной широтой, которая именно и есть высшее проявление истинного аристократизма. Чужое горе, чужая болезнь заставляли ее как солдата на посту. Мой брат Григорий готовился в Морское училище, жил в приготовительном пансионе в Ораниенбауме; вдруг заболел воспалением легких, а пансион переезжал в Петербург – был конец лета. Родители были за границей, я и брат Петя были в гимназии. Бабушка приехала из Фалля, поселилась в маленькой одинокой дачке и выходила брата.

Однажды приехав в Фалль, где мы были уже раньше нее, она объявила, что с сегодняшнего дня будет говорить с нами не иначе как по-французски. О, как я благодарен ей за это столь напугавшее меня решение! Какая великая вещь знание языка; ведь мы не только обогащаем речь свою, мы обогащаем разум новыми понятиями, новыми соотношениями, новыми логическими категориями. Тут же мы начали с матерью читать французских стариков. Первая вещь была «Атали» Расина – мир красоты: и сами слова, и звуки этих слов, и мысли, и форма этих мыслей. Сознание формы вливалось в меня и от тех, с кем я жил, и от того места, где я жил, и от того, чем я жил. Прекрасная библиотека фалльская восходила к началу восемнадцатого столетия своими изданиями и чудными переплетами. Я стал брать книгу и уходить в лес. Так роднились красоты стиха с красотою природы; какая-нибудь сцена трагедии сливалась с солнечным лучом, между деревьев падавшим на зелень подлесного ковра. Я перечитал всего Расина, всего Корнеля, всего Мольера...

Когда мы с братом, выдержав вступительный экзамен в шестой класс гимназии, приехали в Фалль, у почтового моста при выезде из Кэзальского леса нас встретила триумфальная арка из сосновых ветвей. Бабушка, мать, братья, сестра, няня – словом, все ждали нас под аркой, над которой было натянуто белое полотно и на нем, как мы узнали впоследствии, по выбору маленького еще тогда брата Саши красовалась надпись, которою Павел I встретил Суворова после альпийского похода: «Достойным достойное». Младшие братья поднесли старшим по лавровому венку; бабушка подарила по выдвижному карандашу в золотой оправе.

Одно лето я прожил в «избе», что на той стороне реки над водопадом из-за лесу выглядывает. Мне были приятны и самостоятельность и красивое одиночество. Утренняя радость, утренний там лесной и первый брызг лучей сквозь росистые ветви обдавали меня, когда по каменной лестнице спускался к цепному мосту, чтобы идти в большой дом. Смолисто – хвойная задумчивость обнимала меня, когда в вечернем сумраке по каменным ступеням поднимался к своему жилищу. Уезжая в восьмой класс, прощаясь с бабушкой, положил на стол ключ от «избы»:

– Могу им еще когда-нибудь воспользоваться?

– Пока я на этом свете, всякий раз, как пожелаешь.

Но это был последний раз. Следующее лето я провел в путешествии, в Фалле не был, а осенью она умерла. С 1868 года мы так распределяли: одно лето в Фалле, а два в Павловке, и из этих двух одно бабушка проводила с нами. В 1881 году в сентябре мать проводила ее до Вержболова; она поехала в Рим. В октябре мы получили известие, что она больна. Мы с матерью выехали. Я только поступил в университет; благодарен, что отец меня отпустил.

Мы застали бабушку в живых еще в течение двенадцати дней. При ней была прелестная ее старшая сестра, тетка Аппони. Бабушка умерла в страшных мучениях от закупорки кишок; но она выказала изумительное мужество и, хрупкое, нежное существо, учила нас умирать. Она скончалась 4 ноября в шесть часов вечера. Она жила в Palazzetto Borghese, что против большого дворца Боргезе. Дочь ее сестры, графини Аппони, была за князем Боргезе; сестра ее жила здесь, здесь же поселилась и бабушка. Мы отвезли гроб на станцию и поставили в вагон; покрыли красным покрывом, обложили пальмами; вагон запечатали. Печати сняли в Ревеле. Так, среди снега и мороза предстал под красным покрывом и, обложенный римскими пальмами, проследовал в Фалль и стал в домово́й церкви, в так называемом «церковном доме», гроб княгини Марии Александровны Волконской. Был мягкий зимний день. Гора была покрыта белым снегом и, белая, расстилалась книзу долина; черные из-под белых подушек глядели еловые ветви, в то время как зеленые пальмы ложились в могилу...

Двадцать лет жизни изымались из реального существования и переходили в тончайший дым воспоминаний. И в то время как неумолимая земля заравнивала грань между настоящим и уходящим прошлым, – за белым саваном равнины я видел, поверх макушек внизу лежащего леса, как море сочеталось с небом...

Таков Фалль, дивный Фалль. Я не сказал, – но, может быть, это неинтересно, – что я родился там, 4 мая 1860 года, в шесть часов вечера, в большой спальне, что над «колонной» комнатой; там были кретоновые занавески с пассифлорами... Пожалуй, упомяну об этом. Я не люблю воспоминаний, которые начинаются: «Я родился там-то, тогда-то». Всякий человек родится где-нибудь и когда-нибудь. Но кончить этим главу можно:

Я классицизму отдал честь;  
Хоть поздно, а вступление есть.

Теперь от фалльского дома остались одни голые стены; в 1918 году там стояли наши красные войска: остались голые стены. Жаль:

Я вспоминаю с чувством умиления  
О дивном месте своего рожденья

## Глава 2

### Павловка

Помните ли вы, что такое было – после экзаменов, с пятеркою в кармане, садиться в вагон? Помните огромный свод вокзального навеса? Световую арку, перед которой пыхтит нетерпеливый паровоз, и за ней простор природы? А помните, через два дня после этого, приезд в деревню? Не можете не помнить, – это незабываемо.

Уже давно в открытое окно вагона ласкающее, пахучее прикосновение степного воздуха. Направо и налево от полотна мягкое колыхание то ржи, то овса. Солнце садится, на него смотреть почти не больно: и какая-то между небом и землей разлита беззаботная благодарность... Поезд идет тихо. И сосчитать можно всю мерность его мягких поворотов и ровную повторность колесных ударов. Жаворонки взлетают, падают, реют, пропадают. Звонкий воздух допьяна звенит, исполосанный петлями летучих извивов.

Хорошо, но долго; медленно, слишком медленно катится вагон; слишком медленно пыхтенье, и так медленно, так равнодушно медленно стелются и тают клочья дыма... Свисток. Вот красная водокачка и вот наконец наша милая, грязная станция Волконская. Слезать с левой стороны.

Скорей, скорей через грязный зал на крыльцо. Подкатывает с бубенцами серая тройка; старый кучер поздравляет с приездом. Скорей, скорей вещи в коляску. Трогаемся. Опять бубенцы. Прогромыхала под колесами мостовая станционного двора, прогромыхали трясучие доски мостика – выехали на черноземную дорогу. Мягко, тихо... Сзади свисток; поезд пыхтит, раскачивается, пыхтенье напрягается, стук учащается, слабеет, пропадает... Где-то перепелка.

Как далеко все, что я люблю! Как далеко! Флоренция, Венеция! Ужели эти самые рельсы, по которым поезд сзади меня утонул в степной дали, ведет и к вам? Как далеко все тамошнее, каменное, великолепное! Да, как далеко все, что я люблю, и как люблю все, что кругом! Родина, Родина!.. Здесь все мягкое, земляное, соломенное. Историк Соловьев делил Европу на каменную и деревянную...

Катится колясочка, и валец пристяжной задевает придорожную рожь. Вечереет. Вечерний воздух сыт цветущей рожью... Вечерние звуки кончающегося дня; утомленная покорность возвратного движения. Запах соломы, дыма, навоза... Уходящий горизонт ничем не перерезан, разве встречною дугой... Гаснущий пожар закатного неба. Висящее в пыльном облаке напряженное блеяние; редкий шелк арапника. И вновь молчанье; и гаснет все больше, и мрак все гуще... Из темноты неожиданный лай, неожиданный фырк, неожиданный вспых далекого костра...

Катимся. Звенят бубенцы, не то усыпляют, не то пробуждают. Пахнет лошадиным потом. Пристяжная звонкою подковой задевает о подкову. Катимся... И кажется, пространства нет, и времени не чувствуешь.

Но вдруг пахнуло зеленью, лесною сыростью: мы подъезжаем к парку. Темнее ночи на темном небе темнеют темные дубы. И обдает нас вдруг шелкающим гамом море соловьев: мы въехали в аллею. В конце аллеи огонек. То выбежали на крыльцо. Вот брызнул свет из окна столовой. Давно уже там ждали, и вдруг услышали в ночном молчанье ровный стук копыт, и кто-нибудь крикнул: «Едут!» И кто-нибудь повторил: «Едут! Едут!» И вышли со светом на крыльцо. Аллея кончилась, мы выкатили в обширный двор; огибаем большой зеленый круг – лошади остановились в полосе света.

О, первый ужин с укропом из собственного огорода!

«Прежде, – говорит Гоголь, – давно, в лета моей юности, в лета безвозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать». Должен сказать, что всегда, не только в детстве, во всяком возрасте мне было «весело подъезжать». Уже к седьмому десятку я при-



ближался, и не улетучилась острота этой радости. И сейчас, когда начинаю уже свой седьмой десяток и когда ничего уже не осталось от этого прошлого, когда и в том уголке души, где цвели лучшие цветы, уже и полынь не растет, – не могу без радостного трепета вспоминать, как подъезжал к милой нашей Павловке.

Часы поездов часто менялись на моей памяти. Затрудняюсь сказать, что я больше любил – приезжать ночью или днем, угадывать или видеть. Если днем – то обыкновенно приезжали часу в шестом. Какой прелестный час в усадьбе! Час, когда жар еще в земле, а с неба уже идет прохлада. Останавливаюсь на крыльце. Длинные тени от деревьев стелются по зеленым лужайкам; около дома поливают цветы – шум ведер и леек; над петунией и резедой жужжат пчелы, которые каждый год ютятся за обшивкой деревянного дома. С крыльца смотрю назад, откуда приехал. Зеленый круг посреди двора; посредине круга один из тех огромных глиняных, кирпичного цвета горшков, которые привез из Флоренции. Направо свесился через дорогу на круг, раскинул свою шапку огромный трехствольный дуб; огромный дуб: если его шапку очертить на земле, то будет круг шагов в двести. В ветвях этого дуба мы детьми готовили уроки. Под шапкой этого дуба, в тени ее, старый кучер Варфоломей Дейч Ходыкин ждал, когда выйдут на крыльцо, махнут подавать лошадей...

Через зеленый круг смотрю на аллею, по которой приехал. «Графская» зовется она, в память прежнего владельца Кушелева – Безбородко. Был у нас когда-то, в начале семидесятых годов, «эконом» по фамилии Каченовский; он старался перекрестить Графскую аллею в Княжескую, но, как он ни старался, старая аллея своего старого имени не отдала. Она длинная, почти в версту; деревья подстрижены стенкой, и только макушки свисают; живая изгородь, плотно подстриженная, окаймляет дорогу до конца аллеи; два белых столба отворяют выход в степной простор. Там солнце садится; горячий луч сквозь всю аллею скользит на середину круга и зажигает яркую герань в флорентийском горшке... По этой аллее за пятьдесят два года сколько приездов и отъездов; кому встреча, кому проводы. Что может быть приятнее гостеприимства в деревне. Послать на станцию, готовить комнату, заказывать обед, угадывать любимое блюдо... Радостно впускают белые воротные столбы, да и выпускают в радости, потому что без тяжести гости уезжают; с крыльца платки машут, и из коляски дамский платок, мужская шляпа; уже тройка маленькая, почти скрылась, а в огненном пространстве между столбов машет дамский зонтик или поднятая на палку мужская шляпа...

Напротив меня, влево от аллеи – белый флигель, так называемый «молочный дом», не по цвету своему, а потому что в нем когда-то был молочный ледник. Милый флигель, каменный, с высокой крышей; что-то готическое в нем. На заломе крутой крыши петух – флюгер. Под ним четыре буквы, вокруг него четыре страны света, но он подобен флюгерам в стихотворении Алексея Толстого, которые «не знают, в которую сторону им повернуться», – так тихо в воздухе. Нет ему, петуху, причины куда-нибудь преимущественно смотреть, но он смотрит на запад, через аллею, туда, где солнце садится, где деревня Криуша, откуда всегда дождь; он, вероятно, так остался после последнего дождя... Ниже петуха, под фронтоном крыши большие часы показывают шесть без двух минут. Через зеленый луг к тому дому ведет цементная дорожка сквозь два ряда цветов, сгорающих в прощальной ласке закатного луча. По нарядной дорожке, переливаясь золотом и изумрудом, поколыхивая драгоценным своим хвостом, шествует павлин... Налево, по пути от большого дома к флигелю, наша милая старая кладовая: каменная белая постройка, старомодная, ампирная, с портиком из четырех колонн. Как дорог памяти моей железный визг ее дверей... Часы на «молочном доме» бьют шесть. Жарко на крыльце от стены, прижавшей за день бессменный зной немилосердного солнца. Это большое крыльцо под балконом я нарочно построил, чтобы в утренней прохладе кофе пить; но сейчас жарко; пойдем на другую сторону.

В прихожей обнимает прохлада; ставни были заперты весь день; только сейчас их отворили, и под горячим лучом горят кирпичного цвета стены. Дубовая лестница с темно – зеле-

ной дорожкой поднимается и заворачивает в портретную. На стене большая картина Паннини: морская гавань, корабли, башни – тоже закат солнца. С потолка висит медная лампа, лампада, какие в Венеции в соборе Св. Марка. Вот дубовая резная библиотека с двойным окном цельного стекла: в него вид на луг, на огромные дубы, на дальнюю долину, там дальше – на седые ветлы; за ними блестит полоса пруда, и за прудом опять деревья, дальняя опушка парка. Сзади себя на крыльце оставил сухую степь, а здесь зеленый сок лесной... Милая библиотека! В ней три поколения коротали дождливые дни и долгие осенние вечера... Через большую двухсветную гостиную выхожу на каменную террасу – убрана цветами, и уже угадываю по запаху ядовитое присутствие туберозы... Перед террасой стоит в кругу десять исполинов дубов; задумались в прохладе поднимающейся тени; только самые последние листочки на макушках горят от солнца, что осталось с той стороны дома. Под деревьями сиденья – вторая гостиная. Под дубами мы, дети, любили обедать, ужинать. Направо с террасы, в прорехе меж деревьев, видна наша церковь – по ту сторону оврага, верстах в полтора: красивая, ампирная, очень красивая, 1806 года... Здесь тише, чем на той стороне; вечер стал, природа готова к ночи... С шумом крыльев, но без карканья проносится над высокими дубами туча грачей: полетели на дальний водопой... За большими дубами расстилается луг до края двух скрещивающихся оврагов; на краю стоит скамейка, перед ней площадка и цветник, и на пнях две огромные агавы, которые когда-то мать моя привезла маленькими в одном горшке с виллы Волконской в Риме...

В чем прелесть всего этого? Отчего мы так это любим? Много видал я мест прекраснее; и вся страна наша такая неприглядная, и климат сухой, и воды в парке другой нет, кроме двух прудов. Откуда же эта привязанность, корнями существа нашего вросшая в землю, влившаяся в каждое дерево, цветущая в цветах, обнявшая безбрежную однообразность степную? Не знаю, как другие, но отвечаю за себя. Для меня это непрерывное творчество. Задумывать, осуществлять, видеть в каждый свой приезд упрочение и рост того, что сделал в прежние годы, – какое нескончаемое удовлетворение. Да, наша местность, как степная, уныла, но вокруг дома старый парк в двести пятьдесят десятин. Когда родители купили имение в 1863 году, все было в запустении; только большие старые деревья радовали глаз, но всюду крапива, лопух, хворост. Теперь все чисто, свежо, нарядно. Не было ни одного хвойного дерева; первые две елки приехали с нами в корзинках на крыше кареты; в 1868 году еще железная дорога доходила только до Тамбова. Привезли две елочки; они были не простые – бальзамические, и мать моя тут же их посадила во дворе направо и налево от въезда. Они сейчас большие и точат дивно – благовонную смолу...

Мать моя не прекращала сажать, я продолжал. Нелегко ей было; мне было много легче. Во – первых, я работал уже на готовом фоне, во – вторых, в мое время рабочие уже приобрели некоторые навыки уважения по отношению к посадкам. Но как было трудно моей матери начинать! В посадках паслись телята, маленькие елки скашивались косой. Можно сказать, первые десять лет были более воспитательной работой, нежели созидательной. Шевырев сказал, что в «Слове о полку Игореве» выразилась в поэтической форме вековая наша задача – борьба с пустыней. Борьба с пустыней была деятельностью моей матери в Павловке, и, конечно, не одну природную пустыню тут следует понимать, но и ту пустыню, которую люди в природе делают, и ту пустыню, которая в самих людях. Нелегко ей было. Какое-то стихийное надвижение людского непонимания и даже людского издевательства сметало дело рук ее. Она не унывала; но только когда люди увидели результаты, тогда начали они понимать ценность того, чем результаты достигаются. Понемногу наступал период бережной работы. В овраге, возле ручья, я посадил папоротника, такого, которого прежде у нас не водилось; он отлично прижился – косари аккуратно его обходили.

Рощи, целые леса мы развели, и хвойных столько, что вечером иногда пахнет сосной, и уже грибы пошли такие, каких прежде в нашей местности не было. В глубоких оврагах нельзя

было пешком пробраться сквозь кусты и цепкий хмель, а теперь в шарабане можно ездить на четверике гуськом или в автомобиле.

Какая красота в парке, где мягкие зеленые дороги выются по лугам меж раскинутых древесных островов или в прямых архитектурных аллеях. Дубовая аллея – как внутренность готического собора, и в версту длиной. А кленовая – три экипажа могут рядом ехать, деревья сводом сходятся. Вы не можете себе вообразить эти аллеи ночью, и в них кататься в автомобиле с фонарями! Другой мир. Помню, когда приехал ко мне Модест Ильич Чайковский, – он приехал ночью, – я вышел за околицу парка встретить его и, вместо того, чтобы везти его аллеей прямо к дому, свернул после ворот влево, через так называемый «Сергиевский парк», в овраг. Дном оврага выехали в ложину, мимо седых ветел, мимо блесевшего в луне пруда и – в аллее: в одну, в другую, в третью, в дубовую, в кленовую, в березовую, в малую дубовую, в малую кленовую, в «новую»... Как архитектурность аллеи выигрывает, как она определенно вырисовывается под движущимся светом фонаря, который озаряет лиственный свод впереди и сейчас же отдаёт его мраку назад, из мрака вырывает и в мрак перебрасывает. Волшебство непередаваемо, и удивительность этого первого впечатления неповторима. Так Модест Ильич и остался в уверенности, что в час приезда своего он видел такие места, которых впоследствии не мог найти...

Парк интересный в древесном отношении; одних хвойных пород больше двадцати. За последние тридцать лет мы перекинули лесонасаждения уже за пределы парка. В голой степи пошли рощи – и лиственные, и хвойные; переход из степи к парку стал постепенным; кто долго не был в Павловке, не узнает местности: то была голь, а то перелески, острова.

Одно место мы особенно любили – Степкину вершину. По обе стороны крутого оврага вспахано и засеяно лесом; уже лес совсем большой. Овраг рогатистый, с мысами, и чем дальше от его вершины идешь к устью, тем все шире и глубже, а в конце, за последним мысом, вдруг блеснет гладь пруда; над ней, закинув шею на спину, выставив длинный клюв свой, пролетает цапля. Еще голубые, как бирюза, сивоворонки летают с одного берега на другой и дерутся в воздухе с желто – черными иволгами. Лисицы, когда проезжает автомобиль, выходят на опушку поглазеть, вильнуть хвостом и юркнуть обратно в чащу... Степкина вершина от парка в двух верстах, но отсюда с высокого места видно далеко. Виден в долине ближний хутор Владимирский; дальше Мариинский, когда-то на пустом месте, а сейчас в рощах утопающий. За ним дальний лес тянется до горизонта. За лесом в очень яркую, жаркую погоду видны туманные очертания города Борисоглебска... Лес – старый, строевой, в котором Петр Великий строил свой азовский флот и спускал по Вороне в Хопер и Доном к морю. Лес и посейчас называется Талерманская роща, от голландского слова «тиммерман» (плотник).

В детстве мы любили в лес ездить. Это не были пикники, это бывали переселения народов. В трех, четырех экипажах, а мы, старшие, с матерью верхом. Не доезжая леса, на сахарном заводе жила семья директора Островского; их было детей человек шесть, семь; забирали их. А сколько гувернанток, нянек, гувернеров, помощников управляющих, студентов, на побывку приезжавших... В лесу гулянье, игры; по Вороне катанье, в Вороне купанье, рыбная ловля; ужин, самовар, костры... И обратный путь под звездным небом... Теперь Ворона пересыхает; есть места, где можно вброд переехать; и с каждым годом все мельче... Есть места, где была река, а теперь подсолнух сидит и высасывает последние остатки влаги. Леса рубят, вода мелеет.

Да, пятьдесят лет любовного отношения к дереву не заразили местных крестьян; у них не только нелюбовь, у них ненависть к дереву. Если бы вы только видели жестокость, с какою обращаются крестьяне с деревьями. Прелестные молодые рябины, растущие пятью, шестью стволами из одного корня, всеми шестью стволами звездой на земле лежат: мальчики доставали ягоды. Подумайте только, если у вас есть сколько-нибудь склонности к философскому мышлению, подумайте, что это такое – из-за любви к последствию уничтожить причину... Крестьянин смотрит на дерево как на материал; его тень, его прохлада, а тем паче его краса ему

не нужны. Он не сознает даже того, что рост дерева есть своего рода капитал и что как капитал начинается с копейки, так мачтовое дерево начинается с посаженного прутика. Крестьянин не понимает того, что в хозяйстве называется «рентабельность». Риск в хозяйстве ему чужд, и все имеет цену лишь с точки зрения единовременной наживы. Единовременность – вот гнусный и пагубный принцип крестьянского хозяйства, а следовательно, и хозяйственной жизни всей крестьянской России. Ничто не зиждется на прошлом, ни в чем нет расчета на будущее; посев – дальше не видит хозяйское око крестьянина...

Со Степкиной красиво домой возвращаться. Дорога идет по высокому, сзади остался молодой лес, а впереди развернулся во всю длину зелено – темный парк – как море дубовых макушек... Проезжаем мимо кладбища, которое я обсадил деревьями, а налево гумно, тоже обсаженное; островки древесные готовят к въезду в парк. Вот пошли постройки, амбары, мастерские, машины, молотилки, веялки, жнейки... Какая школа людская все это. Сколько за пятьдесят лет выпущено слесарей, машинистов, столяров, шорников, садовников, приказчиков, конторщиков, бухгалтеров... Об одном расскажу.

Раз захожу в контору нашего Мариинского хутора. Сидит за конторской книгой молодой парень; я невольно нагнулся – меня поразил почерк. «Ты писал?» – «Я писал». Стал его расспрашивать; он так мне стал рассказывать все приемы счетоводства, как будто это для него праздник. После того он поступил к брату моему в Саратовскую губернию. Года через два получаю в Италии письмо от Гаврилы Позднякова (так его звали) из какого-то захолустья в Польше; он на военной службе и просит, нельзя ли похлопотать, чтобы его перевели в Петербург – ему страстно хочется учиться. Пишу брату Александру, который служил в Главном штабе. Отвечает, что такие переводы невозможны. Проходит месяца три, получаю письмо от Позднякова из Петербурга: переведен в Главный штаб за почерк; просит помочь ему деньгами, чтобы поступить на бухгалтерские курсы. Прошу того же брата это для меня сделать. Через два года радостное письмо: курс кончил, имеет хорошее место на Николаевской дороге и даже просит разрешения вернуть мне деньги... Быстро пошел в гору. Одно время был заведующим конторой винных складов графа Воронцова – Дашкова. Во время войны был взят в канцелярию Главного штаба. Здесь аккуратностью и деловитостью своей настолько выдвинулся, что откомандирован в личное распоряжение военного министра, и Поливанов говорил, что он спокоен, когда Поздняков у него в кабинете. Благодаря своим бухгалтерским знаниям он изобрел способ, которым мог в три минуты времени доставить сведения о любом солдате русской армии. На третий год войны он приезжал домой, в село Криушу, и заходил ко мне. Он даже – о, ирония судьбы! – сдал мне свой сундук на хранение; к счастью, он вовремя его убрал. Последнее письмо от него имел в 1918 году из Бердянска... И сколько людей, пройдя через нашу контору или наши мастерские, увидели свет. А учиться начали в нашей усадебной школе, где первой учительницей была основательница ее, моя мать...

Едем дальше. Всегда, куда ни подъезжаете, есть последний поворот; огибаем домик священника; вот наша красивая церковь на большом выгоне, окруженном саженным лесом. Вот пошли направо конюшня, водокачка, скотный двор, налево – разгонная конюшня, людская. Все это широко, раскидисто. Вот ворота, другие ворота; въезжаем в аллею – другую аллею: в четыре ряда елки; стрижено, архитектурно. Выезжаем на спуске к плотине: налево пруд, и в пруду отражается белый флигель, «молочный дом». Он красив отсюда в зелени, но и оттуда красиво сюда смотреть, на эту сторону. Из окон моей спальни во втором этаже особенно красиво. Прежде здесь была пустыня, от которой хотелось отгородиться, а теперь красивые луга, окаймленные волнистыми линиями лесной опушки. Эту часть мы называем Александровский парк. Из окон спальни смотрю в бинокль на мною созданный пейзаж. Другая страна. Это ли тамбовская степь? Волнистая местность, дубняк, березняк, ельник; и среди рощ возделанные нивы. В бинокль вижу, смотря по времени года, – покорно – длинные вереницы подъяремных волов, трескучее подпрыгивание сеялки, пестрый цветник платков и сарафанов во время полки

и крылатое вращенье жнейки, снимающей плоды предшествовавших трудов. Все это на фоне зеленых рощ, перед горизонтом из древесных макушек, я вижу из окна, из которого двадцать лет тому назад был виден пустырь и за ним степная голь... Вот то творчество, которое привязывает к месту. Как часто меня спрашивали: «Вы любите сельское хозяйство?» – «Нет». – «Вы любите охоту?» – «Нет». – «Что же вы в деревне делаете?» Уверю вас, что мой день очень наполнен.

А мой дом, мой белый флигель, наш милый «молочный дом»! Такой несуразный, выкроенный из старого, но такой занятный. Моя спальня наверху; весь верх, в память детства, в память Фалля, разделан под готику тридцатых годов; там все под стать, немножко сухо и очень уютно. Главная комната, та, где балкон, та, над окнами которой башенные часы, – это «николаевская», с портретом Николая I, с портретами и бюстами прадедов. Никто не скажет, что устроено, – всякий подумает, что так перешло в наследство; прабабка спросила бы: «Где моя работа? Я вчера ее здесь оставила». К этой комнате ведет коридор, «сибирский коридор». Тут воспоминания о декабристах: портреты, виды, документы, вещи, бывшие в Сибири. Поучительно; все это говорит, рассказывает: Благодатский рудник, Чита, Петровский завод, Ангара, Амур, виды казематов, дед мой и бабушка в своей камере № 54. Повесть страдания и терпения, высоты и смирения... Все это собрано, развешано в коридорчике, освещенном сверху через солнечное слуховое окно. Все это свежо, бело, только готические стеклянные двери просвечивают пестрыми пятнами среди этой белизны. Как мало кто знает это. Как мало вообще у нас интересуются. Ни разу ни одна школа из города не подумала совершить экскурсию. Ну как же не показать учащимся такой «сибирский музей», не говоря о парке, о деревьях, сельскохозяйственных орудиях и пр. Ну как не дать им прожить два дня среди природы, набрать цветов, наловить насекомых, на сене ночевать... Нет, несчастных детей водили в июле месяце смотреть железнодорожные мастерские!.. А всё классовая рознь, через которую не умеют люди душой перешагнуть.

В нижнем этаже совсем неожиданная комната. Бывший ледник и погреб я превратил в зал. Из коридора пробита арка. Сходите двумя ступеньками на платформу, с которой две лестницы сходят вниз, а направо и налево расходится галерея. Архитектурный план напоминает бассейн для плавания, а кругом за колоннами ход. Внизу, кругом всей комнаты, полки с книгами и устроена гостиная, мягкая, уютная. Галерея за колоннами огибает весь зал; напротив входной арки, на том конце зала, огромное окно на юг и из него вид на другую, лесную сторону оврага, на Александровский парк, и из деревьев выглядывает белая колокольня церкви. Потолка нет, стропила наружу, как в старых итальянских церквях; от середины крыши до полу десять с половиной аршин. На правой длинной стене два окна на запад; красиво, когда косой луч падает в нижнюю часть зала и под ним красным жаром на круглом столе пылает букет пионов; гостеприимно, когда на том конце зала, под большим окном, на крытом скатертью столе дымит самовар... Эта комната – как гостиная – библиотека, устроенная в трапезной какого-нибудь итальянского монастыря. Из двух боковых окон должен быть вид на итальянский дворик и на итальянский сад – когда они будут, если будут...

В этой зале мы устроили на второй год войны елку для всех служащих. Елка в восемь аршин стояла внизу, подвязанная к стропилу; между колоннами висели доморощенные, в кузнице сделанные люстры. Было чтение, было пение, были подарки, было веселье... Перед тем за десять дней в той же зале была католическая обедня для плененных; сто двадцать человек плененных стояло внизу, в галерее за колоннами стояли наши «чины и власти». О военнопленных следовало бы мне рассказать, но это составляет такую особенность военного, предреволюционного и революционного времени, что в этих строках, повествующих о деревенском «мирном житии», не место говорить о них. Будет случай...

Я никогда не любил хозяйства; меня всегда больше влекла расходная, нежели доходная статья. С детства я питал отчуждение к хозяйству. Как ни старался отец меня приучить, ему не удалось разохотить меня.

О, эти поездки по хуторам с управляющим. Как я скучал! В жару на дрогах мы ехали. И все, что говорили отец с управляющим, так меня не интересовало и было так далеко от того, что меня интересовало. Говорят о хлебах, о севооборотах, о сдаточных ценах, а я еду, смотрю на поле и люблюсь васильками и даже хлебным врагом – красным куколом. Я восторгаюсь развесистым дубом, а тут говорят о поделках, о распилке. Я не слушаю, что там за моей спиной, на другой стороне старшие говорят, а смотрю перед собой на бесконечные волны бесконечного оржаного поля. Жарко; над лошадьми овода... Истома ложится на природу, обнимает и меня. Очень меня занимает под хвостом у пристяжной потная шлея. Лошадь вальком задевает за рожь, и из спелых колосьев высыпаются зерна на подножку экипажа. Смотрю себе в ноги: подпрыгивают оржанные зернышки. Они хитрые, они обманули человека; он их хотел взять, смолотить, а они с подножки на землю прыгнут и дадут ростки. Я слежу за ними, глаз мой их провожает до того мгновенья, когда они прикоснутся к земле. Эта пляска зернышек меня интересует больше всяких хозяйственных разговоров...

Но вот приехали на хутор, подъехали к конторе. О, эти заезды в конторы! Этот приказчик с обручальным кольцом на указательном пальце! Мухи на окнах, премии «Нивы» по стенам, куры на пороге, поросята на крыльце... Эта роковая необходимость конторских книг, ведомостей... Все это я вижу, слышу, но не смотрю, не слушаю. А дома ждет какая-нибудь начатая дорожка, вновь посаженное дерево, картинка, которую столяр вставил в рамку...

Так с детства жизнь делилась на нужное, несносное, и на ненужное, приятное. С детства ощущал враждебную встречу Красоты и Пользы. И только много позднее я понял, что вовсе не стыдно не интересоваться тем, что тебя не интересует. Тут встает и другой вопрос, который между прочим формулировал Шиллер. Он сказал, что о вкусах человека надо судить не по работе его, а по досугам. Только много позднее понял я, что можно вкусы своего отдыха превратить в предмет своей работы. Конечно, не всякие вкусы заслуживают быть превращенными в работу и, с другой стороны, не всякий человек поставлен в такие условия жизни, которые ему позволяют слияние наклонностей и обязанностей. Но кто это может, для того прохождение жизненного пути являет редкое преимущество слиянности, единства и покоя.

Итак, я предпочитал расходную статью доходной. Но никогда мне не казалось, что я расходую на себя, когда расходовал на Павловку. У меня такое было ощущение, что моя обязанность, мое призвание сделать из Павловки то, что в революционные времена стали называть «культурная ценность».

С крестьянами отношения хорошие. С конторой, с приказчиками, с управляющими они тягаться, но со мной всегда вежливы. В воскресенье утром у меня на крыльце своего рода приемный день. Тот просит «скостить», тот просит «отпустить», у того корова «похарчилась», тому соломки на крышу, тому хворосту на плетень, кирпичей на печку... Трудно иногда бывало разобраться в справедливости и искренности; священник в этих случаях был верным советчиком. Трудно и потому еще, что не нравится снисходительность владельца управляющим: это уменьшает доходность. Но я им говорю: «Ведь вы ставите благотворительность на приход; так о чем же разговаривать?» Есть и такие, что приходят просто посоветоваться, как быть в том или ином случае: дележ, приписка к обществу – вопросы, от которых я далек, но всегда ценил доверие. Особенные случаи воспитания, болезни приводили их ко мне. Одного слепого я взял в Петербург, поместил в приют, из него вышел певчий, и он плел корзины, делал щетки. За это я стал популярен среди слепых. У нас в округе их было довольно много, и, странно, они все на протяжении пяти, шести волостей знали друг друга. Один из них мне сказал, смеясь: «Слепой слепого издалеча видит». В семье Волосковых в деревне Павловке было два брата слепых; третий, зрячий, Егор, служил у нас в доме; редкой преданности человек; он пошел на

войну и попал в австрийский плен. Через год вести о нем прекратились. Сколько раз старуха мать приходила просить: «Ну еще разок попытайся написать...»

У меня была целая переписка и с Красным Крестом, и с каким-то учреждением в Женеве. И не дай Бог, когда удастся известие получить, – тогда посыпятся просьбы.

Даже из Саратовской губернии получал прошения разыскать такого-то. Какая удивительная сила обобщения живет в безнадежности: один удачный случай пробуждает тысячи надежд... Милого Егора Волоскова, приветливого, сияющего, будут помнить все, кто жил в моем доме.

И еще будем мы помнить Ивана Меньшикова села Посевкина. Был убит на войне. Он был сторожем моего маленького дома в Борисоглебске, и когда в годы войны я там устроил лазарет, он стал наблюдателем, курьером и пр. Какой прелестный человек. Как раненые его любили...

Был еще один Меньшиков в Посевкине, Егор. Он с ранней юности своей работал у нас в саду, с любовью относился к каждой своей работе, прямо, когда исполнял физическую работу, приходил в какое-то вдохновенное состояние. Раз пошел с ним в дальнюю часть парка, которую мы прозвали «Кавказ», потому что там обрывистый овраг; со стороны степи я посадил лес, а дно оврага в некоторых местах приоткрыл. Таким образом, благодаря тому, что ровной степи не видать, можно подумать, что стоишь не на краю оврага, а на какой-то вершине. Там на одной лужайке среди сорной травы и мелкого кустарника я открыл прелестный дубок. Захотелось его высвободить. Пошли с Егоркой.

– Вот, Егорка, эту всю грязь вокруг дубочка мне скоси. Только смотри дубочка не смахни.

– Ну, нешто!..

Зашел с того края, поплевал в ладони, начал косить. Что ни взмах, то чистый полукруг перед Егоркой раскрывается. Валяются сорные травы и мелкие кусты, ложатся кучками влево от него. Он входит в упоение, в ярость: гортанным дыханьем отмечает каждый взмах – «Раз! Раз!» Я стою против него, у другого края сорного места. Уже сзади дубочка все чисто. Вдруг взмах, и после гортанного «Раз!» – крик, в котором и ужас, и отчаянье, и раскаяние. Он замер. Мы смотрели друг на друга, развели руками... Однако дубочек не посмотрел на дело так трагично, как мы; он пошел от корня двумя ростками; я срезал один, оставив более сильный. Теперь он вдвое выше роста человеческого.

Егорка боготворил память моей матери. Он впоследствии был разъеден страшной болезнью. В последний раз, что он приходил, на него было жутко смотреть. Трудно было понимать его слова; но в гнусавых звуках, выходивших из того, что было остатком его лица, я разобрал, что каждый день он приказывает детям молиться за покойную княгиню...

И еще одного Меньшикова помню, тоже из Посевкина, – там было много представителей этого знатного имени. Было это на второй год войны. Приходит, – в ноги. За пятьдесят лет не могли отучиться. Впрочем, только те так делали, кто в первый раз приходил. Спрашиваю, чего ему. Забирают, а он вдовый и пять человек детей, ни матери, ни тещи, – кому их денет?

– Пришел к вам попросить письма.

– К кому?

– А там из Питера приехал набор производить Князь Великий.

А я слышал уже, кто приехал набор производить.

Нет, говорю, не Князь Великий, а князь Енгальчев.

– Вы с ним знакомы?

– Знаком.

– Ну вот, к нему письмо пожалуйста.

– Слушай, ты мне веришь?

– А то.

– Ну так я тебе скажу, что письмо мое тебе нисколько не поможет. Когда набор?

– В воскресенье в Алабухи являться.

– Ну вот, забери ты всех пятерых своих детей, погрузи на телегу и так и поезжай в Алабухи и со всеми детьми прямо вали в воинское присутствие.

– Так ведь маленький и ходить-то не умеет.

– На руки возьми.

– Ну спасибо за совет.

Так он и сделал. Освободили.

Итак, по воскресеньям приходили крестьяне. Я к ним подходил вплотную. Тех, кто не знал меня, это, по-видимому, удивляло. Я заметил, что это удивление, в свою очередь, создавало с их стороны новое средостение, но скоро оно пропадало. Отношение было хорошее; какое-то я чувствовал всегда с их стороны снисхождение; они как будто прощали мне мои преимущества. А может быть, и этого даже не было, а просто в их глазах я был чудак. Трудно переселиться в чужую оценку, то есть в психологию, руководящую чужой оценкой... Одна баба сказала знакомой помещице, что ко мне крестьяне хорошо относятся, потому что я бедных «презираю». Конечно, я делал что мог, но тяжело сознание бездонности того, куда кладешь.

Да, помещичья помощь крестьянину – это палка об одном конце, если можно так выразиться. Или скажем так: побуждение – одно, а результат – другое. С одной стороны, желание добра, а там – ничего, пустота. Все это ни к чему, и всегда я имел такое ощущение, что это с моей стороны откуп. Откупиться за невозможное, недостойное положение вещей. Но сказать, что я чувствовал ответственность за такое положение, никогда не скажу. Бездонность всякой помощи крестьянину тем определяется, что его интересует только – получить, он не понимает, что значит вложить. Когда понятие дохода заменяется понятием наживы, то один лишь шаг к тому, чтобы понятие наживы в свою очередь заменилось понятием мошенничества. Губительный принцип единовременного пособия вьелся в крестьянина, сидит глубоко. Мошенничество – один из видов единовременности, и мошенничество для него – условие хозяйства. За сорок лет один только случай припоминаю, который могу назвать хозяйственной помощью, а не подачкой. Какой разумный, правдивый мужик Алексей Давыдов села Посевкина. Он каждый год берет у меня в долг, каждый год больше, всегда возвращает «на Николу». Завел себе скотину, инвентарь, по моему совету покрыл крышу цементной черепицей. Он каждый год веселеет. А все остальное – бездонная яма, один непробудный отказ. Тяжело, с детства тяжело было чувствовать это отличие себя и всего огромного окружающего моря. И всегда чувствовалось, что когда-нибудь прорвется. Но не чувствовал я, что когда прорвется, то им станет лучше, а еще меньше – что они сами станут лучше. Алексею Давыдову не нужна моя итальянская зала, и он совершенно счастлив без нее...



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.